

УДК 930

doi: 10.17072/2219-3111-2017-3-7-17

ВОСПОМИНАНИЯ ДОЧЕРИ¹

Л. Л. Кертман

Израиль, г. Хайфа

lina.kertman@rambler.ru

Публикуется фрагмент воспоминаний Л.Л. Кертман о ее родителях – С.Я. Фрадкиной и Л.Е. Кертмане. Воспоминания разбиты на несколько частей в соответствии с разделами официальной автобиографии ученого. В центре внимания несколько ключевых эпизодов из жизни Л.Е. Кертмана: довоенное детство и юность в Киеве, «хождение на производство» и опыт участника боевых действий в годы Великой Отечественной войны, встреча с Е.В. Тарле и становление профессионального историка. Рассматривается переломный момент в профессиональной и личной биографии ученого – гонения на него в годы «борьбы с космополитизмом» в послевоенном СССР и переезд на работу в Пермский государственный университет по личному приглашению ректора Пермского государственного университета А.И. Букирева. В тексте приводятся стихи Л.Е. Кертмана из архива Л.Л. Кертман.

Ключевые слова: Л.Е. Кертман, С.Я. Фрадкина, А.И. Букирев, Пермский государственный университет, Е.В. Тарле.

«Всё, что было не со мной, помню...» Знаю, что эта строка много раз пародировалась, но рассказы моих родителей были так ярки, что многое из их детства и юности я в самом деле помню так, как будто была там с ними. И многое вижу за строками их официальных биографий.

«...Родился в 1917 г. в г. Киеве, в семье служащего аптеки, еврей»

Могу уточнить адрес – улица Рейтарская, дом 7. Квартира на первом этаже. Там прошли детские и ранние юношеские годы моего отца. Он жил там с родителями и старшим братом. Там жили друзья папиного раннего детства, жил Лев Копелев. Он, правда, был старше и больше дружил с папиным старшим братом Семёном. Они не брали на свои вечерние прогулки моего маленького папу (четыре года – огромная разница!), и он с завистью смотрел им вслед. У них был дружный двор. Дети очень любили своего дворника: он защищал их, когда требовалось, от разгневанных родителей, иногда даже от милиционера, громко оповещал, когда по улице шёл мороженщик, и одалживал деньги на мороженое. Вернувшись в Киев после войны, когда адрес их семьи был уже не тот, папа в первый же день побежал на Рейтарскую повидаться с дворником. Они встретились очень по-родственному: дворник минуту присматривался – узнал, взволнованно всплеснул руками, обнялись. Дворник рассказал, что знал о ребятах – кто вернулся раненый, кто пропал без вести, на кого пришла похоронка. На многих... При нём папа плакал, не стесняясь. Помянули.

Слушая этот рассказ, я ещё не знала многого страшного о киевских дворниках, выдающих немцам не успевших эвакуироваться евреев. Но я и сейчас уверена, что тот любимый дворник папиного детства был не таким.

Я никогда не жила в том доме, но, давно уже не живя в Киеве и приезжая туда из других городов, а потом и из других стран, непременно иду в папин двор на улице Рейтарской. Он небольшой и очень уютный – надо пройти под аркой и попасть в защищённый со всех сторон круг. Папа приходил туда в каждый свой приезд. И меня тянет туда с неменьшей силой, чем во двор своего собственного детства на улице Саксаганского...

«Два клёна в ряд, за третьим, разом/ Соседней Рейтарской квартал». В те далёкие годы ещё не было этих строк великого поэта, и имени Бориса Пастернака, так много значившего для него в юности и всю жизнь потом, мой папа ещё не знал. Но он всё детство прожил на этой улице и каждый день видел эти два клёна, и после появления в 1931 году этих стихов в самом названии родной улицы возникла какая-то магия, какое-то новое поэтическое измерение... Это осталось навсегда.

Папа никогда не был пионером. В моём пионерском детстве это сильно поражало, и я часто приставала с вопросами: зная правила, принятые в советской школе 40-х, 50-х и последующих годов, когда по достижении нужного возраста (9 лет) автоматически принимали в пионеры большими группами, - не знаю, как кому, но мне точно даже в голову не приходила мысль поступить по-

другому, и я никак не могла понять, как такое было возможно даже чисто практически – не вступить, когда вступали все? Папа объяснил, что в 20-е годы детская жизнь строилась по-другому: пионерских организаций в школах не было, они были в клубах при фабриках и других учреждениях, и оставалась свобода выбора. Многие, правда, вступали в пионеры вполне охотно – там шла весёлая, ещё не скованная формальными догмами жизнь, никак не связанная со школьной учёбой; жизнь в которую не вмешивались школьные учителя, – с остроумными стенгазетами, пионерскими песнями, в которых были лихость и озорство и ещё не было железобетонной пафосности. В воскресниках ещё не было скучной обязательности, в выездах в лес с палатками была ещё почти не отягощённая идеологией романтика. Гордо маршируя по городу, азартно и весело били в барабаны и гудели в горны. Позднее я прочла несколько хороших книжек, где детство тех лет подавалось в романтической тональности, и, как и героям этих книжек, мне нравилась та жизнь.

С грустью сравнивая её с нашими скучными школьными буднями 50-х годов, с нудными классными собраниями и «обязательными мероприятиями», я завидовала пионерам прежних лет: «Какая интересная жизнь раньше была!» Но папа явно не разделял этих восторгов (ни моих, ни так завораживающе действующих на меня писателей), и я никак не могла понять, почему. Практическую сторону возможности невступления в пионеры папе легче было объяснить, чем свои психологические мотивы... Он немного смущённо говорил: «Знаешь, мне почему-то даже смотреть на них было как-то... немного неловко, немного смешно: ни с того ни с сего так шумно идут – дуют в горны, бьют в барабаны, орут песни – как будто всё время празднуют не известно что... А уж чтобы я сам стал так ходить – это вообще было немыслимо!» «Да почему?!» – Он искренне старался вспомнить себя тогдашнего: «Да ну что ты! Я ведь тоже был очень застенчивый!» («тоже» – потому что знал, как я мучилась угловатой подростковой застенчивостью...) – и, немного подумав, добавил: «Да и времени на такие глупости было жалко... лучше почитать! Или поиграть в шахматы».

На такие «глупости» папе бывало жаль и моего детского времени. Ему казалось, что наше развитие искусственно затормаживают, задерживая нас в глупом детстве. Помню его недовольное ворчание, когда в моей школе было велено приготовить к новогоднему утреннику маскарадные костюмы и мне поручено было исполнить роль зайчика. Это сильно напрягло всю семью: ни мама, ни бабушки – а обо мне и говорить нечего! – не умели шить. Сшила костюм соседка по университетскому общежитию, но – не помню почему! – уши пришлось пришивать нам самим. Глядя на наши с мамой неуклюжие старания, папа недовольно ворчал: «Какие зайчики?! – Тебе уже 9 лет! Мне это было бы дико... Да я через четыре года уже работать начал!» – В запале он явно преувеличил – точнее, преуменьшил! – возраст своего выхода в люди, но разве в этом было дело! Главный пафос его возмущения – «Растят каких-то недоразвитых!» – оставался неизменным. И круг моего чтения в 10 – 11 лет казался ему «затянувшимся детским».

До сих пор не знаю, справедливо ли это было, но сам он действительно рано начал читать очень всерьёз. Лет в 13, если не раньше, подолгу просиживал в библиотеке, изучая редкие исторические книги, а ещё – читал в те годы пока доступные подробные стенограммы партийных съездов 20-х годов, где будущие «враги народа» вели относительно свободные дискуссии, сталкивались противоположные позиции, звучали развёрнутые аргументы каждой стороны – в общем, было о чём подумать! И уже тогда ему это было по-настоящему интересно.

«В 1931 г., после окончания 7-летней школы, поступил в фабрично-заводское училище Киевского учебного автокомбината. В 1932 г. перешёл в техникум при том же комбинате (авто-дорожный). Однако в апреле 1932 г. в связи с тяжёлым материальным положением семьи вынужден был оставить учёбу. С этого времени до сентября 1935 г. работал на Киевском заводе им. Лепсе в качестве младшего конструктора отдела главного механика»

Эти годы папа любил вспоминать больше, чем школьные. Он тогда явно стал общительнее и активнее. И творческая натура проявлялась во всём. В качестве младшего конструктора даже изобрёл какое-то оригинальное приспособление к вагонетке, должное придать ей новое качество. (Очень жаль, что по своей полной технической темноте не могу сказать большего!) Знаю только, что он показал свой чертёж механикам, и по заводу пошли слухи о любопытном семнадцатилетнем изобретателе. Однажды в их отдел зашёл директор завода. Это само по себе было не рядовым событием. Главный механик ошарашенно ответил на несколько необязательных вопросов, но директор и после этого не ушёл. Ни о чём больше не спрашивая, он сел на стул у двери, достал газету, закурил и явно никуда не торопился, смущая народ. В конце концов начальник отдела не выдержал

и осторожно поинтересовался, что заставило директора уделить их отделу столько времени, – и услышал: «Да вот жду, когда вагонетка Кертмана выедет!»

С таким же добрым юмором относились к юному энтузиасту молодые рабочие. Он охотно принял первую в его жизни общественную нагрузку – что-то среднее между политинформатором и культоргком. Отдел был тесно связан с одним из цехов, где собралась симпатичная и не слишком образованная молодёжь, в большинстве всё же постарше 17-тилетнего лектора. В том возрасте, как известно, несколько лет разницы играют существенную роль, и ребята дружелюбно опекали странного новичка, иногда с интересом прислушиваясь к его нестандартным «политбеседам», в которых звучали и стихи, и живые слова, так что было «всё понятно, всё на русском языке». Но это были всего лишь короткие беседы в цехах в перерыве, а папе хотелось большего – он рвался по-настоящему просвещать молодых рабочих: расширить их кругозор и заинтересовать всем тем, что было интересно ему самому. Сейчас думаю: не было ли в этом стремлении и некой «генетической памяти»?.. Папина мама Мария Самойловна Кертман в юности вела занятия в рабочих кружках, за что, несмотря на самый невинный их характер (география, русский язык, литература), угодила в 1910 году в Астраханскую тюрьму...

Не раз вспоминал папа один воскресный выезд на велосипедах на загородную прогулку. Потребовалась немалая его настойчивость, чтобы всё это организовать, – народ предпочитал другое воскресное времяпрепровождение, но вдруг неожиданно согласился. Папа старательно и, как всегда, творчески готовился к популярной лекции (что-то о политике, что-то о культуре), потом предполагал устроить спортивные соревнования, но у потенциальных слушателей были другие планы – они готовились к весёлому пикнику, и «у них с собой было». Доехав до уютной поляны, они, расположившись небольшими компаниями, доставали закуску и убеждали растерявшегося «руководителя», что устали с дороги и надо подкрепиться – «А лекция, Лёва, потом! Не волнуйся – всё успеем!» А он и еды захватить не догадался – до такой степени мыслил в другом направлении! Стало неловко, но ребята поспешили развеять это, наперебой приглашая присоединиться то к одному, то к другому кружку – «А то обидишь!» Пришлось, само собой, и выпить за здоровье если не отдельно каждого, то всё же многих, и за его здоровье пили... А ещё в самом начале пиршества одна девушка попросила прокатить её на велосипеде, и друзья активно поддержали её просьбу: «Она плохо катается, еле доехала – устала! А места посмотреть хочет – покажи ей, ты ведь здесь бывал?» (Папа в самом деле повёз народ в знакомое место.) Просьбы звучали убедительно, отказать было неловко. Усадив девушку на раму, он повёз её по знакомой дороге, чтобы показать более красивую поляну, и больше всего боялся не удержать руль – всё же первые рюмки были уже выпиты, и не был ли это его первый опыт такого масштаба?! Сделав круг, он еле-еле довёз девушку до места, сдал с рук на руки друзьям и торопливо отошёл в другой конец поляны – закружилась голова, стошнило, потом, кажется, внезапно заснул. Дальнейшее утонуло в тумане. Ребята бережно доставили его домой и, стараясь не слишком напугать шокированных родителей, всё же спросили: «Где он спит? Извините, мы лучше доведём до места...» Авторитет юного лектора от этой истории не пострадал, и несомненное дружеское расположение молодых рабочих особенно проявилось год спустя, когда во время вступительных экзаменов в университет папу не приняли на филфак, куда он тогда стремился: блестяще сдав все другие экзамены, он споткнулся на сочинении на украинском языке. Возмущённые рабочие целой бригадой явились в университет, прорвались в кабинет ректора и застучали кулаками по столу, выкрикивая что-то о недопустимой дискриминации «их заводского парня».

Много лет спустя папа рассказывал историю той неудавшейся культурной вылазки маминым кузенам в Москве. С неизменной самоиронией вспоминал он свою тогдашнюю наивность, говоря, что совсем не понял, чего хотела от него та девушка и что имели в виду её друзья... «И где теперь та девчонка?» – пародируя лирические сцены советских кинофильмов, «вздыхнул» мамин старший кузен, речь о котором ещё не раз пойдёт в этой книге. Как мы хохотали!

«В 1940 г., по окончании университета, был призван в Красную Армию. Служил в 705 стрелковом полку в г. Жлобине Белорусской ССР; в составе этого полка начал Отечественную войну на Западном фронте. После переформирования служил в особом мото-пулемётном батальоне (стрелок - пулемётчик)»

Из воспоминаний С. Я. Фрадкиной:

«...Расскажу о проводах Лёвы на фронт. Мне казалось важным "демонстрировать бодрость" – "мы не сдаёмся! Жизнь продолжается!" – и потому по пути на вокзал, увидев в витрине хорошую настольную бумагу, которую мы давно искали, обрадовалась и, отстав на минутку от Лёвы и его родителей, провожающих до условленного угла, забежала в писчебумажный магазин. Тогда, видимо, Хаим Симхович и сказал Лёве – тихо, чтобы не услышала Мария Самойловна, – то, о чём он мне рассказал только годы спустя: "Лёвушка, на всякий случай пусть у тебя в кармане всегда будет записка – фамилия, имя и адреса, по которым можно написать..." А я ни о чём подобном не думала – и, догнав их, довольным голосом громко сообщила, что купила эту бумагу. Выражения боли на лице Лёвы я тогда не заметила, а он с горечью помнил эти минуты долгие годы, уже после войны. И сколько раз потом я казнила себя за это... И даже уже тогда – в то страшное утро, когда долго глядела вслед ушедшему поезду – дачному, пригородному, такому "мирному" – я начала что-то понимать».

Этот горестный эпизод папа не раз вспоминал... Хорошо помню то их прощание именно в его рассказе. Папа был тогда потрясён и неожиданными словами своего отца, после которых и сам, может быть, внезапно до конца осознал, КУДА едет, и на этом фоне с особенной болью воспринял «легкомыслие» своей молодой жены и режущий контраст их настроений. Впрочем, слово «легкомыслие» в его устах почти не звучало – это была бы всё же относительно мягкая оценка, но ему было слишком больно. В тот далёкий день в его восприятии всё выглядело так, как будто мама не дорожила последними минутами прощания, раз способна была в такой момент думать о чём-то «постороннем». Долгое время я воспринимала то прощание полностью «на папиной волне». Но сейчас вдруг впервые подумала, что и в том горьком эпизоде была своя диалектика – ведь в совсем недавней мирной жизни они ВМЕСТЕ искали эту хорошую настольную бумагу, мама купила её для их общего дома, и, может быть, в её «демонстрацию бодрости» входило и подсознательное желание ободрить уходящего на фронт мужа: всё ещё будет, наш Дом продолжит свою жизнь... Но если и так – этот «жест» слишком противоречил всей окружающей атмосфере, которую они с папой в тот момент ещё настолько по-разному воспринимали: он был убеждён, что ей с родителями нужно как можно скорее эвакуироваться, мама же верила, что Киев не будет взят и ещё можно и заботиться о доме, который они так любили, и продолжать учёбу в аспирантуре, вообще жить прежними заботами.

Мысленно обращаясь в первые военные месяцы к будущему историку, тяжело раненый мой отец писал:

Если ты хочешь быть честным и точным,
Наши архивы тебе не нужны.
Я предлагаю отличный источник –
Первые письма моей жены.
(Ты не обидишься ведь, дорогая?
Что, не спросясь у тебя, предлагаю?)

Вдумайся в них! Поворочай мозгами!
Мало? Я выдам тебе наконец
То, что писала из Харькова мама.
Мало? Прочти, что писал и отец.
(Мама и папа, к чему обижаться?
Можно ведь цензорам в письмах копать?)

...Сколько десятилетий должно было минуть, сколько эпох в жизни страны смениться, чтобы в простые письма давних лет действительно вчитывались как в бесценные, ни с чем не сравнимые исторические свидетельства! И как жаль мне сейчас, что письма, о которых говорится в этих стихах, не сохранились...

«В страшный день 22-го сентября услышала в сводке по радио, что Киев пал. Мне очень почувствовали (я одна здесь была киевлянкой), а я не могла заснуть, ходила по ночной степи и прощалась с Киевом. И убеждалась (уже не в первый раз), насколько Лёва прозорливее меня. О нём я давно ничего не знала, – казалось, что кончено всё – и Киев, и...

Жить не хотелось. Только жалость к родителям ещё держала. Но что-то во мне надорвалось, и через несколько дней я грохнулась без чувств – на поле, в разгар трудового дня. Солнечный удар» (Из воспоминаний мамы. Она была тогда со студентами в колхозе под Актюбинском).

Годы спустя я расспрашивала многих киевлян, кто как вдали от родного города пережил это жуткое известие, и многие говорили, что даже на фоне достаточно тяжёлых событий, пережитых ими, это был самый страшный день их жизни.

Куда мы придём? Но не будем
О новых страданиях гадать.
Сегодня растерзаны люди,
Селения и города.

Сегодня слезами полита,
Как ливнем, большая земля
И чёрная тень Мессершмита
Ложится на наши поля.

И груб, беспощаден и страшен,
Как зверь неизвестных широт,
По городу юности нашей
Немецкий полковник идёт

Так написал мой отец ровно через месяц после этого дня – 22 октября 1941 года. В это время они с мамой ещё ничего не знали друг о друге.

Многие папины рассказы, особенно о рукопашном бое, я хорошо помню. Он говорил, что там всё так хаотично мелькает, что ничего не понятно: где свои, где чужие, кто тебя бьёт, кого ты... Мне очень запомнился один колоритный эпизод во время их выхода из окружения (кстати, им повезло, что нашёлся храбрый лейтенант, взявший на себя командование и ответственность). Все они «обросли» и очень хотели постричься, и вот на привале молоденький солдатик взялся за это дело (не помню, почему он хорошо владел этим ремеслом). Он охотно постриг молодых парнишек – своих ровесников, во всем понятных ему новобранцев (многие были из деревень). Папа же вызвал недоверие – он был старше большинства (через год после университета). Кроме того, насколько я понимаю, в той группе не было интеллигентов. Парень заподозрил, что перед ним офицер, спрятавший документы и скрывающий своё звание, – потому, мол, и постричься хочет (офицерам разрешалось не стричься так, как солдатам). Возмутился и отказался стричь. (На самом деле папа за всю жизнь не поднялся выше звания ефрейтора, что годы спустя стало предметом дружеских шуток моих друзей: «Мужчина с высшим образованием – / Это который в солдатах бывал, / И, с будущим тестем сравнившись в звании, / Миша Лину в тот год охранял» (1971 год, из свадебного поздравления). Но разубедить того парня было невозможно, пока у взбешённого папы не вырвался «убойный», но ещё неожиданный в те годы аргумент: «Да я еврей! Если попадём к немцам, мне уж точно будет всё равно!» Папе запомнилось выражение какого-то растерянного и смущённого удивления на лице того украинского парнишки – он явно никогда «не мыслил в этом направлении» и мало что знал об этом сюжете. Но сразу постриг.

«В мае 1942 г. поступил на работу в Казанский университет в качестве преподавателя новой истории. В декабре 1943 г. защитил кандидатскую на тему «Эволюция исторических взглядов Т.Н. Грановского». После этого стал и. о. доцента»

Из мемуаров мамы: «Помню, как я волновалась, когда шли с ним в военкомат на переосвидетельствование. Отпуск по ранению продлили на 2 месяца (вся его тяжесть выявилась позднее, уже в Казани, и тогда его «комиссовали», как называли это солдаты в годы войны), и Лёва начал оформлять документы для поездки в Казань к родителям. Предполагалось, что он вернётся в Актюбинск – уже была договорённость, что он будет преподавать в Актюбинском учительском институте, где я работала (там был и исторический факультет). В Казань он собирался всего на неделю, но всё обернулось по-другому: в Казань был эвакуирован институт истории (Академии Наук) СССР, в котором – Евгений Викторович Тарле. Лёва хорошо знал его работы, был увлечён ими – и рванулся... Попросил принять его и уделить минут 20, но они проговорили часа два, и Тарле хорошо запомнил

эту встречу с «мальчиком на костылях». Они тогда многое обсудили – интересно было обоим! Евгений Викторович даже заглянул в его курсовую работу (о Берке), награждённую 100 рублями, очень нас порадовавшими на 2-м курсе (курсовую бережно сохранили родители Лёвы, всегда гордившиеся его способностями), – и оценил аналитичность и самостоятельность подходов и выводов. Он пригласил Лёву к себе в аспирантуру. Это было волнующим событием и большой честью, но принять решение было непросто – Лёва не хотел после всего пережитого снова расставаться... Он искренне рассказал Тарле, что у него в Актюбинске семья, жена работает в институте и его готовы взять туда. Тот отнёсся с пониманием и одобрил решение «посоветоваться с семьёй». И вот я получаю письмо от Лёвы – он предлагал мне принять решение, писал, что, если я не захочу оставить относительно налаженную жизнь в Актюбинске (работа, жильё), побоюсь после всех наших железнодорожных мытарств снова с родителями сорваться с места, он готов отказаться от этого варианта (при всей его ценности и соблазнительности) и вернуться в Актюбинск, как мы договаривались до встречи его с Тарле. Я сразу поняла, что от такого отказываться нельзя, и стала думать о "технической" стороне вопроса...»

Эта встреча с Тарле в самом деле была судьбоносной – она вошла в семейные легенды... Годы спустя, когда я в студенческие каникулы приезжала к родственникам в Ленинград и папин кузен – историк Виктор Панях – водил меня по городу и просвещал, рассказывая историю чуть ли не каждого дома, он с особым волнением остановил меня возле не самого приметного дома: «Здесь жил Евгений Викторович Тарле!» Тогда в Казани Вите было 13 – 14 лет, и встреча с моим отцом стала важным событием его жизни: со всем подростковым пылом увлёкся он сначала личностью старшего двоюродного брата, а потом – его призванием. И на всю жизнь обрёл своё. Всё важное, что происходило тогда в жизни моего отца в Казани, Виктор хорошо помнил...

Помнил и папину поездку на пароходе – в Чистополь к Пастернаку. В восприятии моего отца это было столь же значительным событием, как встреча с Тарле, – по-другому, но безусловно не менее внутренне важным для него. Папа поехал к Борису Леонидовичу, бывшему его кумиром с ранних юношеских лет, со своими стихами. Сейчас я почему-то думаю, что если бы не война, точнее – не всё испытанное там и так многое в нём перевернувшее, он, может быть, не решился бы на эту поездку, но теперь за его плечами был такой опыт, которым, как бы ни были несовершенны его стихи, он ощущал себя вправе поделиться. Трудно объяснить, почему я знаю так мало подробностей этой встречи. (Почему-то не случилось у нас настоящего разговора об этом...) Могу представить волнение папы в первые минуты... Ещё были видны последствия тяжёлого ранения, и Борис Леонидович был сочувственно приветлив. С искренней заинтересованностью расспрашивал он о фронте, задавал много вопросов о подробностях увиденного и пережитого молодым воином. Папа не мог не ощутить обаяние личности Бориса Пастернака, но некоторые вопросы поразили его какой-то простодушной, почти детской наивностью великого поэта. Какие-то свои стихи папа прочитал (как хотелось бы мне теперь знать, какие именно!), но и после этого, насколько я понимаю, разговор шёл не о стихах, а о стоящей за ними живой жизни. Как бы то ни было, эта встреча на всю жизнь осталась одним из самых сокровенных папиных впечатлений, сохранённых в самой глубине души. Поверхностные вопросы о ней могли ранить его, а углублённые – не всегда получаются. По-настоящему, как о многом у нас получалось, о встрече с Пастернаком (а уж это ли меня не интересовало!), мы, увы, так и «не поговорили» (цитирую Юрия Левитанского).

Прочитав в письме папы о встрече с Тарле, мама сразу «поняла, что от такого отказываться нельзя...» В этом проявилась общность их системы ценностей, и папа, конечно, был глубоко тронут и оценил это решение.

При своей огромной «многостаночной» нагрузке папа сумел за полтора года написать талантливую диссертацию! Евгений Викторович пытался убедить его продолжить интересное исследование о Берке, начатое в курсовой работе, но папа выбрал другую тему – «Эволюция исторических взглядов Т. Н. Грановского». Он был по-настоящему увлечён личностью известного историка XIX века – блестящего профессора всеобщей истории Московского университета, близкого друга Герцена и Огарёва, глубокого и тонкого человека.

Всем более или менее близко знакомым с моим отцом людям, пусть читающим его работу о Грановском в совсем другое время, было понятно, насколько не случаен был этот выбор: «В чём-то эти два человека просто схожи. Да, не так просто стать блестящим лектором, кумиром молодёжи, властителем её умов – для этого мало только знать предмет – надо быть и обаятельной личностью,

иметь дар понимания людей, иметь твёрдую позицию и многое ещё сверх академических достоинств» (Надежда Гашева).

Павла Юхимовича Рахшмира, в 50-е годы бывшего студентом, а затем – многолетним коллегой моего отца, отличает профессиональный взгляд: «Молодой учёный занимается Грановским. Тема оказалась на редкость удачной, так как она вводила молодого учёного в необозримый мир классических исторических и философских идей XIX столетия, по праву считавшегося "веком истории"». Но и он не мог не заметить психологическую близость автора и героя диссертации, правда, его внимание больше сосредоточено на близости профессиональных методов двух лекторов, вынужденных работать в нелёгких и во многом похожих социально-психологических обстоятельствах: «Говорить о современности Грановскому было практически нельзя. Тем не менее благодаря историографическим введениям к читаемым курсам и отдельным темам ему удавалось сказать своё слово. Лев Ефимович приводит свидетельство одного из слушателей: "Часто, разбирая причины появления монографов и их мысли в новое время, профессор одним метким выражением (а на это Грановский был большой мастер) освещал перед нами целую историю нового времени, не столько говоря, сколько заставляя догадываться одним намёком. Поэтому при изучении лекций и статей Грановского в этот период приходится улавливать эти намёки, отбрасывать "официальные" идеи, высказанные по необходимости, и, таким образом, установить исторические взгляды Грановского в их истинном освещении"».

Прочитывая этот отрывок из папиной статьи, П. Ю. Рахшмир высказывает пронизательную догадку об «уроках Грановского» непосредственно в профессиональной деятельности моего отца: «Если тема о Грановском была для Л.Е. Кертмана "проходной", то "уроки Грановского" оказались непреходящими, особенно в деле университетского преподавания».

Если в научно-исследовательской сфере «тема Грановского» в самом деле осталась для моего отца «проходной» (он больше не возвращался к ней), то в эмоциональном плане его всегда продолжало волновать любое упоминание этого имени... Мне хорошо запомнилось, как папа был поражён эпизодом одного из романов Натана Эйдельмана: 1855 год, март. Весть о смерти Николая Первого приходит из Петербурга в Москву через несколько дней. Кто-то из друзей заходит в Московский университет, вызывает Грановского с лекции – и сообщает. Грановский отходит к окну, молча отворачивается и после долгой тяжёлой паузы, когда друг уже не знал, что думать и чего ожидать, тихо говорит: «Не то удивительно, что он умер, а что мы после таких тридцати лет живы!» (цитирую по памяти). Друг был потрясён этой надломленной речью... После этого Грановский прожил очень недолго – он умер в октябре того же года, не дожив до отмены крепостного права, возвращения из Сибири выживших декабристов и других «оттепельных» событий 60-х годов 19-го века. Друзья глубоко скорбели, им очень не хватало его голоса в изменившиеся времена...

И даже это – похоже! После смерти моего отца в 1987 году, когда в следующие годы российская жизнь стала с невероятной быстротой меняться и во многом было так трудно разобраться, сколько раз я слышала от самых разных людей: «Как не хватает сейчас Льва Ефимовича – его голоса! Как часто думается – что он сказал бы сейчас?»

И ещё об одной глубинной близости «двух профессоров» хочется сказать. «Хотя Грановский как профессор, как человек общественный далеко оставлял за собой Грановского – писателя, но сочинения его представляют достоинства первоклассные. Одна уж их живая, художнически прекрасная форма при строго учёном содержании сообщает им весьма важное значение», – так написал после смерти Грановского Н.А. Некрасов («Заметки о журналах 1855 года» в «Современнике»). Он призывал друзей недавно ушедшего историка издать все его сочинения.

В «казанский период» появление книг моего отца было ещё далеко впереди, но, когда настал их черед, многие отмечали помимо научной ценности их художественные достоинства.

...На папину защиту в Казани постарались прийти все близкие люди – кто только смог освободиться на эти несколько часов. Все ощущали это даже не просто как радостное событие, но и – как что-то знаковое: страшная война приходит к концу, наступает «и на нашей улице праздник»...

Защита прошла блестяще. Присутствие Евгения Викторовича Тарле, чьё имя уже тогда было легендарным, придало церемонии особую торжественность. Дома устроили «банкет» (это слово не случайно взято мамой в кавычки!). «На "банкет" после защиты купили на рынке буханку хлеба за 200 рублей, Марья Самойловна разрешила её на тоненькие "листки" и приготовила фарширован-

ную рыбу. Больше на столе ничего не было, и всё было "сметено" за полчаса. Но защита прошла блистательно, и на "банжете" было весело».

Вскоре после папиной защиты – осенью 1943 года – освободили Киев. Мама вспоминает: «На площади в Казани собралась вся киевская "колония". Мы на радостях "обтанцевали" всю площадь». Так радовались киевляне, разбросанные войной в самые разные концы страны... Судя по маминему рассказу, в Казани было довольно много киевлян, а одна её школьная подруга рассказывала мне, как встретила этот потрясающий день в Узбекистане (не помню, где именно), где киевлян было совсем мало. Они с подругой стояли в самом конце собравшейся возле приёмника (чёрной «тарелки») густой толпы, только что услышавшей голос Левитана, сообщившего об освобождении Киева. У девчонок вырвался ликующий крик – и люди расступились: «Пропустите! Это киевлянки!» Их пропустили в центр круга – и они танцевали так долго и азартно, как, может быть, никогда в жизни, и пожилые женщины, глядя на них, вытирали слезы...

Моих родителей эта радостная весть подтолкнула к важному решению: «И вот тогда мы решились – пора рожать! Именно когда освободили Киев... И так и вышло!» Это влекло за собой другое смелое решение: «Но дочь (Лёва почему-то был уверен, что нашим первым ребёнком будет дочь) должна была быть киевлянкой. И я рассчиталась с университетом и пединститутом и вернулась в Киев». Как я благодарна родителям за это решение! Всю жизнь это было для меня сокровенно важно.

В стихах моего отца звучала та правда, о которой редко рассказывали вернувшиеся фронтовики и ещё долго не могли говорить вслух профессиональные историки, – о боли, страданиях, смертях, но «бессмертная привычка живущего – жить» рождала и другие мотивы – надежду и страстное заклинание:

Нет, я найду тебя. Мы снова обретём
Потерянное небо Украины.

Это – сбылось. Точнее, безусловно сбылась первая часть «заклинания» – маму он нашёл. Небо Украины осенью 41-го года – и ещё долгих два года потом – оставалось недоступным. Обрели ли они его после освобождения Киева? Эта драматическая глава их жизни стала для моих родителей не менее поворотной и болезненно выбившей из колеи, чем война...

Были вьюги, были беды –
Все осталось позади.
Почему же в День Победы
Как-то холодно в груди?
Потому ли, что за кадром
Слышу тут, как слышал там
Старую абракадабру
Правды с ложью пополам?..

В 45-м году вновь вернулись к моему отцу все его сомнения и прозрения, так сильно опережающие время, – впервые они прозвучали еще в его стихах 41-го года. «Старая абракадабра» во всей полноте настигла их в 1949 году...

Хлопоты о работе были изнурительны и безрезультатны: 60 вузов, в которые папа отослал письма и заявления, отказали. Клеймо космополита отпугивало... Не известно, чем бы все это кончилось, если бы не случайная встреча в коридоре министерства. Здесь мне хочется вновь процитировать Надежду Гашеву:

«К счастью для Кертмана (и для студентов города Перми, для Пермского университета), в министерстве, где молодой ученый пытался добиться ответа на свои запросы, он случайно разговорился с ректором ПГУ Александром Ильичом Букиревым. Александр Ильич – человек, прошедший две войны, мысливший по-своему, человек твердых убеждений и мягкой интеллигентности, сразу сказал опальному историку: приезжайте, место у нас есть...»

Эта определившая всю дальнейшую жизнь нашей семьи встреча оказалась поистине подарком Судьбы – по-другому, но не менее значительным, чем встреча папы с Е.В. Тарле в Казани. И тот разговор с Александром Ильичом папа всю жизнь помнил во всех подробностях. В ответ на такое неожиданное, не могущее не взволновать предложение папа сразу сказал о своем клейме космополита. Александр Ильич мягко пресек эту тему: «Это меня не интересует. Университету ну-

жен историк, и я готов принять Вас» – и, чутко уловив какую-то заминку: «Вас что-то смущает?» Папа сказал о семье, но и это не оказалось препятствием: «Конечно, приезжайте вместе с женой – филологи нам тоже нужны!» Но некоторая растерянность и после этого не покинула папу... «Что еще?» - «У нас маленький ребенок, дочка очень хрупкая, она даже в Киеве подвержена сильным простудам – не знаю, как она будет переносить уральский климат». (Таким далеким и страшным казался незнакомый Урал...) – «У нас тоже есть дети!» – резковато парировал Александр Ильич. (Через семь лет после этого разговора, когда в восьмом классе я перешла в новую школу, мы познакомились и подружились с Галей Букиревой – и до сих пор весело вспоминаем тот момент разговора отцов.)

Не знаю, долго ли длились семейные обсуждения, но никакого другого решения – как, кстати, и после папиной встречи с Тарле! – родители принять не могли. Но все же сразу решиться на радикальный переезд всей семьи было страшно – вдруг что-то окажется не так. Решили, что сначала папа поедет один – «на разведку» и, конечно, сразу приступит к работе.

«В этой должности (и. о. зав кафедрой всеобщей истории), а в 1953–1957 гг. – в должности доцента я работал до 1957 г., когда был избран по конкурсу заведующим кафедрой всеобщей истории. С тех пор до настоящего времени работаю заведующим кафедрой»

Все это сложилось позже. Пока же папа один ехал в неизвестность. На Урал, где никогда в жизни не был. Смотрел в окно медленно едущего поезда на незнакомую природу, так не похожую на украинскую. Мысленно прощался с городом, где прожил полжизни. Как одиноко и тоскливо ему было, как тревожно... Найти друг друга после такой войны – и опять разлука.

Поля, поля... Неласковые горы,
А за окном встает степная Русь,
И сердцем я в далёкий южный город,
В далёкий город юности несусь,

Поля, поля... Как быстро годы мчатся,
Давая пищу сердцу и уму,
И, может быть, другим пора прощаться,
А я дочурку на руки возьму.

Где я любил, где первых песен строчки
Похоронил, как друга на войне,
И где теперь моя гуляет дочка
И, может быть, не помнит обо мне.

И если мне лишенья и разлуки
Её глаза и губы не простят,
Ты за меня лизни ей нежно руку,
За то, в чём был и не был виноват.

1949, осень

Осенью 49-го года думать о будущем семьи было совсем страшно, далеко вперед не заглядывали, мыслили короткими отрезками времени: можно вырваться в Киев на несколько дней в октябрьские праздники, на Новый Год, на зимние каникулы...

Далеко живет она,
Маленькая дочка.
Папа пишет у окна
Дочке эти строчки.
Хорошо живи, моя
Доченька родная!
Я тебя, любимая,
Очень обожаю.
Я б на ручки взял тебя,
Лесенкой понес бы,
Помни обязательно
Маленькую просьбу:

Если сядешь кушать ты,
Не вертись на стуле,
Неприменно слушайся
И люби мамулю.
Если мама вечером
Вдруг уйти захочет,
Значит, делать нечего:
Возвратится к ночи.
Не помогут жалобы.
Пусть гуляет, пусть.
Не сердись, пожалуйста,
Я ведь не сержусь!

1949, зима

В смутном состоянии встречали родители новый 1950 год. Но случилось поистине «новогоднее чудо» – из Молотова в Киев пришло письмо от Александра Ильича Букирева. Даже в дате написания этого письма скрыто внятное нашей семье «маленькое чудо»: 26 декабря – день рождения мамы. Папа приложил усилия, чтобы приехать к этой дате. И вот...

26. 12. 49 г.

Уважаемый Лев Ефимович!

Как жаль, что Вы столь внезапно выехали из города Молотова и я не смог повидаться и переговорить с Вами до Вашего отъезда. Поэтому я решил написать Вам и просить Вас ответить мне до Вашего возвращения из Киева. Я имел в виду переговорить с Вами о переходе на работу в Молотовский Университет Вашей супруги. Мне передавали, что Вы несколько обеспокоены неприятной перспективой совместной работы с некоторыми из сотрудников кафедры, на которую имеется в виду пригласить Вашу супругу. Мне кажется, для беспокойства больших оснований не должно быть, т. к. при наличии возможностей положение на кафедре будет резко изменено. Поэтому опасаться неприятностей, мне думается, не следует. Наш коллектив в состоянии, кроме того, парализовать попытки чинить неприятности, если даже лицо, кого Вы имеете в виду, попытается это сделать, если будет иметь к этому возможность, в чем я не уверен.

Что касается бытовых условий (квартира), то я надеюсь, что и в этом отношении мы с Вами договоримся. Во всяком случае, вторая комната будет Вам предоставлена. Само собою разумеется, что мы будем принимать меры к получению квартиры за счет города. Хотя и не так часто, но все же город время от времени предоставляет нам квартиры. Так, Вам, вероятно, известно, что квартиру в городе получили проф. Воробьев, доц. Верецагин и др. наши научные работники. В перспективе у нас новый 40-квартирный дом, который хоть и медленно, но строится и будет в ближайшие два года построен.

Наших холодов, надеюсь, Вы теперь уже не боитесь. У нас, как Вы могли убедиться, стоит хорошая, сухая и теплая относительно зима.

Итак, я жду от Вас ответа. Было бы хорошо, если бы Ваша жена приступила к работе во втором полугодии уже в МолГУ, в чем, я рассчитываю, нам поможет и министерство. Последнее в лице отдела кадров нашего Главка надо просить оформить переход Вашей жены в Молотовский Университет служебным переводом, хотя это, мне думается, не обязательно. Если необходимо, то надлежащее ходатайство мы можем возбудить. Об этом я также прошу Вас меня уведомить.

Жду от Вас известий.

Позвольте поздравить Вас с Новым Годом и пожелать Вам и Вашей семье счастья, здоровья и успехов. Надеюсь, что следующий новый год – 1951-ый – Вы будете встречать в кругу своей семьи и друзей уже в городе Молотове.

Будьте здоровы!

С уважением, А. Букирев.

(Приписка чернилами): Прошу извинить за ошибки в письме, они проистекают оттого, что я лишь начинаю осваивать технику письма на пишущей машинке.

А. Б.

Поистине «стиль – это человек». Поразительное письмо! Немного «старомодное» – такое, думается, вполне мог бы написать и дореволюционный интеллигент. Этот обаятельный, совсем не засоренный советским новоязом стиль напомнил мне письма Ивана Владимировича Цветаева – так ощутимы в нем врожденные порядочность и благородство, деликатность, естественная доброжелательность, безукоризненное чувство собственного достоинства и умение уважать достоинство другого человека. С каким мягким юмором Александр Ильич напомнил папе его боязнь уральской зимы (для ребенка) – значит, помнил тот разговор!

Александр Ильич был чем-то похож на чеховского интеллигента – но не нервно мечущегося, а скромно и спокойно делающего свое необходимое людям дело – как доктор Дымов в «Попрыгунье». Он был очень демократичен – студенты знали, что у ректора можно перехватить деньги перед стипендией, он приходил на спортивные соревнования ребят и азартно болел. Основным критерием при приеме преподавателей на работу были для него высокий профессионализм и порядочность, Александр Ильич хорошо знал цену разнужданным обвинениям и не боялся брать по разным причинам опальных людей – побывавших в плену, вернувшихся из лагерей и ссылок, «безродных космополитов»...

Новый 1951 год, вопреки пожеланию Александра Ильича, мы еще не встречали всей семьей на новом месте – родители все же не спешили перевозить меня на холодный Урал, и до школы я еще на целый год оставалась с бабушками в Киеве.

У родителей же шла новая жизнь...

Примечания

¹ Фрагменты готовящейся к печати «Книги дочери» Л.Л. Кертман, посвященной Л.Е. Кертману и С.Я. Фрадкиной.

MEMOIRS OF THE DAUGHTER

L. L. Kertman

Haifa, Israel

lina.kertman@rambler.ru

A fragment of Lina Kertman's memoirs concerning her parents – Sara Fradkina and Lev Kertman – is published. Memories are divided into several parts in accordance with the sections of the official autobiography of Lev Kertman. Several key episodes from Kertman's life are in the centre of attention: pre-war childhood and adolescence in Kiev, "walking on production" and experience of a participant in the fighting during the Great Patriotic War, meeting with Evgeny Tarle and the formation of a professional historian. A turning point in the professional and personal biography of the scholar is the persecution of him in the years of "fight against cosmopolitanism" in the post-war USSR and moving to Perm State University at the personal invitation of the rector of Perm State University Alexander Bukirev. Lev Kertman's verses from Lina Kertman's archive are presented in the paper.

Key words: Lev Kertman, Sara Fradkina, Alexander Bukirev, Perm State University, Evgeny Tarle.